

Sola fide

Есть такие вещи, что в них очень трудно поверить, вот как та роза или постиранный плюшевый медведь возле дома в Балтийске, повешенный за ухо сушиться. С другой стороны, сказано же, что содрогнётся земля, и горы двинутся к сердцу морей. Поэтому чего.

Трудно поверить потом, что ты не сам это всё придумал. Потому что проснулся посреди ночи и думал: действительно? Это правда? Когда это было? Ты же убил его, столкнул в Совиный ручей с шатающихся прогнивших досок над Хапиловкой, радужной от бензиновых плёнок. Как тебе удалось из дневной памяти вытеснить его смерть и собственную вину? Или, может, почки опять, – думаешь, возвращаясь в постель, – может, это просто сон так медленно выходит из тела, неправильно превращается в воду? Трудно поверить, это труднее всего. Потому что известно, как просачивается чужое в чужое: несколько лет прошло, – и уже срослись.

Закрываешь дверь, укрываешься с головой и следишь – всю долгую цепочку шагов. Сливающиеся огни, сонное, до дрожи, нетерпение сна, мокрый асфальт. Бездомный на остановке долго кутается в зимнюю не по сезону куртку, прожектор над стадионом выпирает из чёрной июльской зелени: тот же самый перекрёсток, тот же самый номер комнаты. Следишь внимательно: радио в машине, Аркадий Северный по случаю ночи, фонарь у дома. Почти здесь, почти конечная точка. На этом месте против желания закрываешь глаза и проваливаешься в завтрашнюю уже темноту, поражён и умер.

Мужчина рядом, в кресле, грузно поднимается, моргает, оборачивается к своей спутнице a bit overdressed for a friday movie, но ничего не говорит, только набирает воздух – и тут же отворачивается от неё, толпа медленно тянется к выходу, усталая девочка с накрашенными синим веками держит на вытянутых руках мешок для мусора; обколотый снотворными тигрёнок ворочается в фойе на белом дизайнерском кубе, обнимая ртом воображаемый сосок, объектив фотографа уставлен в поплёскивающий пол. Недавний сосед, оживившись, пересказывает своей женщине из газеты о положении Иоава, потом о положении народа, потом о ходе войны. Она слушает его рассеянно, поправляя бретельку, представляя себе в это время, как он войдёт в неё сзади, получасом или, если ужинать, двумя часами позже.

Ты собрал морские воды и положил бездны в хранилищах, вообще ты всё можешь, это как-то само собой понятно, не только мне, а даже и тому ребёнку (предположим, мальчик восьми лет), чей вот медведь в Балтийске, – чистый уже и пахнет хозяйственным мылом, но в самой силе, мокрый пока, да, но кого нам страшиться, крепость жизни моей, – высохнет, встанет и пойдёт, встанет и пойдёт. Мы уже будем немощны, больны, совершенно смертны, а он как раз доберётся до края этого мира. Узнает, что там: море или птичий крик, темнота или шум листвы, снег или погасший экран, рассыпан по синему ковровину попкорн или пролита коричневая сладкая газировка.

Онемевший от феназепам кошачий зев, неохотно сходящееся колечко диафрагмы. Номер комнаты, едва упомянутый в предыдущем фильме и школьный бумажный голубь палиндромических близнецов. Если кто и Кинерет называет морем, а море Филистимлян – Великим, тот, ясно, океана не видел, а только в кино смотрел, пока сердце замирало и удивлялось. Вот так и ты.

Когда, наконец, уговорили мужиков, что за одного не заплатят, нету ещё полтинника, – ладно, – сказали тогда мужики, хрен с ним, поедем так, моторка немедленно оказалась, где было нужно, там такой причал, – нет никакого причала, колышки одни торчат, все, кроме него вышли, а он сказал, нет, не пойду. Слишком неверная вода у вас тут, не пойду, слишком холодная, не то, что у нас, сел и сидит, боится упасть, потому что море. Они ему говорят: ну

давай, ты чего как баба, всё будет нормально. А он говорит, нет, мужики, знаю я эту вашу Балтику, а вы не знаете. У вас там бог Нахтигаль по дну ходит живой, противолодочные мины ржавеют, охренели вы от своей травилочки, не соображаете ничего, везите меня обратно. А они ему говорят: ты чего, это мы, что ли, собрали морские воды и положили бездны? Мы тут вообще на охоте, вот у нас и патроны, смотри, – и на ладонь высыпают, – на рябчика собирались, потом на зайца. А он говорит: ах, на зайца? Ах на рябчика? И вот уже стоит на твёрдой земле, простирая руки, швырнув пятьдесят сестерциев в лодку. А трещина в асфальте растёт, и земля уменьшается.

Правда, ничего не помогает. Ни хорошие актёры не помогают, ни охренительный оператор. Ни даже продюсер с именем. Потому что действие, где бы оно ни происходило, происходит в этой самой нашей стране, до края которой доходят, – и то по большим праздникам, – разве что застиранные плюшевые медведи из небольших военных городков. Всенародно избранное время и смерть, утверждённая в должности парламентским большинством – вот и всё наше местное самоуправление. И раб твой, Урия Хеттеянин, тоже, в общем-то поражён и умер. Зато какие открываются перспективы.

Над старой, гнилой речкой стоит радуга, Ахав садится в машину и едет, подземная вода становится стеной, режиссёры твои, держащие коробки с плёнкой, стоят на суше среди Хапиловки, дни ваших жизней срастаются, становятся одним и тем же, немеют от феназепама и газировки. Ты им говорил: мужики, вижу, что плавание будет с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни, – а они не слушали, потому что чего там, Речфлот же, берег со всех сторон. Ну и вот. Пластмассовая роза, выстиранный медведь, третья часть судов, облако с ладонь.

Сердце морей здесь, где нет никакого моря. Горы обступают говорящего со всех сторон, однажды он умолкает, глядя вверх, в ту последнюю прореху, где ещё видно небо. Там, наверху, медленно плывут титры, белым по синему, сплошные незнакомые имена, должности, которых больше нет, биографические справки, фотографии, на которых они смеются и обнимают друг друга, вырезки из ежедневных газет.

Невозможно поверить, что это не ты придумал. Что это она сама, жизнь теплокровного мира, травяного, молочного, – что это сама она разболелась и разрослась до человеческих размеров и слов.